

Надежда Мандельштам

ОБ АХМАТОВОЙ



е: «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было».
ми было, самое основное и сильное — это страх и его производное — мерзкое чувс-
ной беспомощности. Стогсам вспоминать, не надо. «это» всегда с нами. Мы поэзия-

Надежда Мандельштам
Об Ахматовой

«Новое издательство»

2007

Мандельштам Н. Я.

Об Ахматовой / Н. Я. Мандельштам — «Новое издательство»,
2007

Книга Н. Я. Мандельштам «Об Ахматовой» – размышления близкого друга о творческом и жизненном пути поэта, преисполненное любви и омраченное горечью утраты. Это первое научное издание, подготовленное по единственной дошедшей до нас машинописи. Дополнением и своеобразным контекстом к книге служит большой эпистолярный блок – переписка Н. Я. Мандельштам с Анной Ахматовой, Е. К. Лившиц, Н. И. Харджиевым и Н. Е. Штемпель.

© Мандельштам Н. Я., 2007

© Новое издательство, 2007

Содержание

В поисках концепции: книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками	5
I. Голос старого друга	5
1	5
2	10
3	12
II. «Вся наша жизнь прошла вместе...»	16
III. Тата и лютик	20
1	20
2	21
3	28
IV. Первый старатель	30
1	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Надежда Яковлевна Мандельштам Об Ахматовой

В поисках концепции: книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками

І. Голос старого друга

... Прочел я ее «одним дыхом», да иначе ее и читать нельзя...
Александр Твардовский

У автора рукописи есть религия – это поэзия, искусство.
Варлам Шаламов

1

«Дав пощечину Алексею Толстому, О.М. немедленно вернулся в Москву...» – этот зачин к «Воспоминаниям» Надежды Яковлевны Мандельштам вошел в число самых известнейших в русской прозе XX века, узнаваемых с первого взгляда.

Впервые Н.Я. села писать воспоминания летом 1958 года в Тарусе, вскоре после того, как прекратила преподавать в Чебоксарах и вышла на пенсию. Работа над кандидатской диссертацией потребовала у Н.Я. немало сил и лет, но, определенно, дала ей навык систематической работы над темой. И хотя пенсия по возрасту, которая ей полагалась, была настолько мизерной, что со временем она снова стала искать себе новый вуз, – тем не менее за три с лишним года, что Н.Я. провела в Тарусе, она если и не завершила «Воспоминания», то написала большую их часть; отдельные главы она давала читать самым верным и проверенным знакомым.

Наиболее ранней «внутренней рецензией» оказался тридцатипятистраничный отзыв Александра Александровича Любищева, знакомившегося даже не с «Воспоминаниями», а с отдельными их главами («Капитуляция», «Труд», «Майская ночь» и «Дата смерти»). Читал он их внимательно, отвечал основательно, так что дата его замечаний – июнь-июль 1961 года – указывает на то, что машинопись от Н.Я. он получил, скорее всего, весной – в апреле или мае¹.

М.К. Поливанов датирует завершение работы над первой книгой мемуаров Н.Я. о Мандельштаме началом 1962 года², но он, вероятно, зафиксировал лишь один из моментов ее промежуточного завершения, поскольку работа продолжалась и в 1962–1964 годах – во Пскове, во время учебных семестров, и, особенно, в Тарусе, во время летних каникул.

Пожалуй, детальной и достоверней всего заключительная фаза работы Н.Я. над «Воспоминаниями» запротоколирована в дневнике драматурга Александра Константиновича Гладкова, с которым Н.Я. познакомилась в январе 1960 года в Тарусе и долгое время поддерживала самые дружеские и доверительные отношения. Она не только давала ему читать свои воспоминания в рукописи, но и выслушивала, не морщась, его замечания. Впервые Гладков читал еще незаконченную рукопись в августе 1961 года, а 4 февраля 1962 года он отмечает в дневнике: «Н.Я. начала писать едва ли не самую важную главу в своей работе»³.

Согласно дневнику Гладкова, Н.Я. еще как минимум дважды «кончала» свои «Воспоминания» – осенью 1963 и осенью 1964 года. Запись от 1 мая 1963 года: «Н.Я. дает мне читать еще 120 стр. своей рукописи, уже доведенной до лета 1937 года, с отступлениями разного рода (напр., „М[андельшта]м и книги“ и пр.). Хорошо и точно»⁴. Это явное свидетельство того, что работа Н.Я. над воспоминаниями – в самом разгаре: и началась много раньше, и от завершения далека.

Двадцать девятого сентября 1963 года Гладков записывает в дневник:

Заходил прощаться к Над. Як. Она уезжает опять в Псков, на этот раз с великой неохотой и плохими предчувствиями. Она закончила свою «книгу», осталось кое-что отделать – это замечательный памятник поэту и страстное свидетельство о времени. Есть и преувеличения, и односторонность, но как им не быть с такой каторжной жизнью. На редкость умная старуха. Мало таких встречал.⁵

Книга, однако, всё еще не была завершена, работа над ней продолжалась еще около года. Известно, что в начале сентября

1964 года Н.Я. давала ее читать Ариадне Эфрон:

... на днях Мандельштамша, под страшным секретом, дала мне читать свои воспоминания. Сплошной мрак, всё – под знаком смерти; а когда так пишут, то и *жизнь* не встает. Как бы ни была глубоко трагична жизнь О [сипа] Э [милевича], но ведь она была *жизнью* – до последнего вздоха. В ее же воспоминаниях (Над[ежды] Як[овлевны]), в ее трактовке основное – *обстоятельства* пути человека, а не сам этот путь, как бы он ни был сродни Голгофе. А ведь в жизни истинного поэта «обстоятельств» нет, есть Рок, под них подделывающийся. Воспоминания же – обстоятельно-обстоятельны, и от этого – мутит. Впрочем, написано неплохо, она умна и владеет пером, но... «чему это учит»?⁶

А 31 октября 1964 года Гладков записал: «[Н.Я.] кончила книгу и кладет ее „в бест“⁷. Я уговаривал ее сдать экземпляр в ЦГАЛИ. Она плохо выглядит, лежала дома час с грелкой, но весела. Сегодня ей 65 лет»⁸.

Вот тут-то, судя по всему, и следует поставить датирующую точку. В начале 1966 года, на православное Рождество, машинопись «Воспоминаний» была переправлена Н.Я. на Запад.

Ю. Фрейдин относит завершение этой работы к концу 1965 или даже к 1966 году. Конечно, авторское совершенствование и доводка текста не останавливаются, как правило, никогда. Но Фрейдин имеет в виду другое: в его машинописи «Воспоминаний» книга завершается отсутствующей в западных изданиях главкой «Мое завещание». Это эссе было написано в декабре

1966 года, – то есть в самый разгар работы над следующей – публикуемой нами только теперь – книгой. В то же время ни на одном книжном экземпляре «Воспоминаний», вышедших в «тамиздате» (без этого эссе), Н.Я. ни разу не попыталась восстановить или обозначить указываемую Фрейдиным композицию⁹. Думается, что тут мы имеем дело именно с композиционным ходом Н.Я., мысленно включившей «Мое завещание» в некие будущие издания в качестве своего рода приложения или постскриптума.

Н.Я. давала читать свою книгу только близким друзьям и лишь с большими предосторожностями, и, конечно же, естественно было бы ожидать, что одним из первых ее читателей была Ахматова. Однако фраза из «Листков из дневника» – «Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает»¹⁰ – документирует лишь то, что А.А. определенно знала

о том, что Н.Я. пишет воспоминания. Да и сама Н.Я. держала ее в курсе дела, когда писала ей в начале января 1964 года из Пскова: «Работать легко, но я уже не могу. Скоро кончу».

Но, как ни странно, в число их читателей А. А. вообще не входила. Нет ни одного свидетельства о том, что А.А. ее читала, как и о том, что Н.Я. давала ее читать. Сообщение Ю. Фрейдина о том, что в конце 1965 года А.А., с начала ноября лежавшая в больнице, «успела получить один из немногих машинописных экземпляров»,¹¹ – не более чем предположение. А предположения, что, первое, неразысканная надпись А.А. на «Бегах времени» – «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было» – не что иное как напутствие и чуть ли не призыв А.А. к Н.Я. написать новую книгу воспоминаний, и, второе, что некий отзыв А. А. о «Воспоминаниях», заглавный и неодобрительный, дошел до Н.Я.¹² (и, продолжим мысль, стал одной из причин «отказа» Н.Я. от ее книги об Ахматовой), – всего лишь догадки.

В то же время есть прямые свидетельства об обратном. Ане Каминской, прочитавшей «Воспоминания» в самиздате и сказавшей: «Акума, там есть много о тебе», – А.А. недоуменно заметила: «Казалось бы, надо было Наде показать мне, прежде чем распространять свою книгу»¹³. А Анатолию Найману, своему фактическому литературному секретарю, она так сказала о рукописи Н.Я.: «Я ее не читала. <.. > Она, к счастью, не предлагала – я не просила»¹⁴.

В ахматовских репликах явно сквозит отчетливое стремление – уклониться от чтения воспоминаний Н.Я. Тут можно, конечно, припомнить и общую для обеих – и А.А., и Н.Я. – «аллергию» на мемуары типа «жоржиковых» (Г. Иванова), но главное всё же в другом – в желании А.А. избежать неизбежного в таком случае выяснения и ревизии отношений с Н.Я.

Примерно такими же соображениями руководствовалась и Н.Я., не показывая А.А. свою первую книгу или ее фрагмент. Чисто физических возможностей сделать это было достаточно – они виделись по нескольку раз в год, в Москве или Ленинграде¹⁵, и отношения, как показывает их переписка, были в 1960-е годы вполне безоблачными¹⁶.

Однако «новая» Н.Я., с написанием мемуаров окончательно порвавшая с тою прежней, почти бессловесной – вблизи и в тени О.М. и А.А. – «Наденькой», прекрасно понимала, чем это им обоим грозит. Крахом, полным разрывом отношений – причем почти независимо от того, что именно об А.А. она написала! Идти на этот риск Н.Я. решительно не хотела, но и не писать она уже тоже не могла.

Никого, кроме А.А., такие меры предосторожности, конечно, уже не касались, и у «Воспоминаний» Н.Я. вскоре появились первые желанные и благодарные читатели¹⁷. Так, в 1964 году «Воспоминания» прочел высоко чтимый Н.Я. художник – Владимир Вейсберг. Он называл их «великой книгой»¹⁸. А в июне

1965 года – с рукописью знакомился такой дорогой для Н.Я. читатель, как Варлам Шаламов. О своих впечатлениях он написал подробно и дважды – 29 июня самой Н.Я., а незадолго до этого – Н.И. Столяровой, где так сформулировал свои впечатления от прочитанного:

В историю русской интеллигенции, русской литературы, русской общественной жизни входит новый большой человек. Суть оказалась не в том, что это вдова Мандельштама, свято хранившая, доносившая к нам заветы поэта, его затаенные думы, рассказавшая нам горькую правду о его страшной судьбе. Нет, главное не в этом и даже совсем не в этом, хотя и эти задачи выполнены, конечно. В историю нашей общественности входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности. <.. >

В литературу русскую рукопись Надежды Яковлевны вступает как оригинальное, свежее произведение. Расположение глав необычайно удачное. Хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими

экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, – в которых нет ни тени личной обиды. Вся рукопись, вся концепция рукописи выше личных обид и, стало быть, значительней, важнее. Полемические выпады сменяются характеристиками времени, а целый ряд глав по психологии творчества представляет исключительный интерес по своей оригинальности, где пойманы, наблюдаются, оценены тончайшие оттенки работы над стихом. Высшее чудо на свете – чудо рождения стихотворения – прослежено здесь удивительным образом. <... >

Вернемся к рукописи. Что главное здесь, по моему мнению? Это – судьба русской интеллигенции. <.. >

Рукопись эта – славословие религии, единственной религии, которую исповедует автор, – религии поэзии, религии искусства. <... > Огромную роль в жизни и душевной крепости автора сыграла Анна Андреевна Ахматова, но и роль Надежды Яковлевны в жизни Ахматовой, конечно, очень велика, да еще в самом мужественном, в самом достойном плане. <... > Поздравьте от меня, Наталья Ивановна, Надежду Яковлевну. Ею создан документ, достойный русского интеллигента, своей внутренней честностью превосходящий всё, что я знаю на русском языке. Польза его огромна.¹⁹

В письме к Н.Я. он подхватил ее тезис об особой роли акмеизма в русской поэзии и культуре:

Доктрина, принципы акмеизма были такими верными и сильными, в них было угадано что-то такое важное для поэзии, что они дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на трагическую смерть. <...> Рукопись эта закрепляет, выводит на свет, оставляет навечно рассказ о трагических судьбах акмеизма в его персонификации. Акмеизм родился, пришел в жизнь в борьбе с символизмом, с загробщиной, с мистикой – за живую жизнь и земной мир. <... >

Рукопись отвечает на вопрос – какой самый большой грех? Это – ненависть к интеллигенции, ненависть к превосходству интеллигента. <...>

У автора рукописи есть религия – это поэзия, искусство.²⁰

Кстати, в начале 1968 года, покада «Воспоминания» еще не вышли на Западе, Н.Я. предприняла дерзкую попытку предложить их не куда-нибудь, а в «Новый мир». Вот что ответил ей А.Т. Твардовский 9 февраля 1968 года на официальном бланке журнала:

Глубокоуважаемая Надежда Яковлевна!

Большое Вам спасибо за предоставленную мне возможность прочесть Вашу рукопись.

Не собираюсь писать на нее «внутреннюю рецензию», вряд ли и Вы в этом нуждаетесь, – скажу только, что прочел я ее «одним дыхом», да иначе ее и читать нельзя – она так и написана, точно изустно рассказана в одну ночь доброму другу, перед которым нечего таиться или чем-нибудь казаться. Словом, книга Ваша счастливым образом совершенно свободна от каких-либо беллетристических претензий, как это часто бывает в подобных случаях. А между тем написана она на редкость сильно, талантливо и с собственно литературной стороны – с той особой мерой необходимости изложения, когда при таком объеме ее ничто не кажется лишним. Даже своеобразные повторения, возвращения вспять, забегания

вперед, отступления или отвлечения в сторону, вбок – всё представляется естественным и оправданным.

Трагическая судьба подлинного поэта, при жизни до крайности обуженной, внутрилитературной известности, вдруг захваченного погибельной «водовертью» сложных и трагических лет, под Вашим пером приобретает куда более общезначимое содержание, чем просто история тех испытаний, какие выпали на Вашу с Осипом Эмильевичем долю.

Мне хочется сказать Вам, что книга эта явилась как выполнение Вами глубоко и благородно понятого своего долга, и сознание этого не могло не принести Вам достойного удовлетворения, как бы ни трудно было Вам вновь и вновь переживать пережитое. <.. >

Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет, – потому и называю рукопись книгой, – только относительно сроков этого, к сожалению, я не могу быть столь же определенным.²¹

Твардовский даже не подозревал, что сроки эти не так уж и далеки. Он, конечно же, имел в виду книгоиздание в Союзе, где выход книги Н.Я. на самом деле был решительно невозможен. А вот на Западе бикфордов шнур издания «искрился» уже вовсю. В начале 1966 года, на православное Рождество, ее увез к себе в Принстон Кларенс Браун: с ним оказалась вплотную связана издательская судьба обеих мемуарных книг Н.Я. – «Воспоминаний» и «Второй книги» – на Западе.

В 1970 году, почти одновременно, в нью-йоркском издательстве им. Чехова и в лондонском издательстве «Atheneum» вышли массовые русское и английское издания²². Английское вышло под названием, обыгрывавшим то состояние, в котором Н.Я. тогда пребывала: «Hore against hore», что-то вроде «Надежде вопреки»). За ним и за рецензиями в лучших журналах и таблоидах последовал целый вал переводов едва ли не на все европейские языки – известность и слава Н.Я. быстро превзошла известность стихов О.М., также интенсивно, но понемногу переводившихся во второй половине 1960-х годов (благодаря успеху американского издания О.М. по-русски).

Конечно, эти издания, особенно переводные, были не свободны от разного рода дефектов: в силу понятных причин автор была не в состоянии ни держать корректуры, ни визировать наборные рукописи. До выхода в СССР оставалось подождать еще два десятилетия – в 1989 году в издательстве «Книга» вышли «Воспоминания» с послесловием Николая Панченко, а в 1990 году в издательстве «Московский рабочий» – «Вторая книга» с предисловием Михаила Поливанова. Этому предшествовали первые советские публикации в периодике – в журнале «Юность» (1988, № 8; 1989, № 7–9), подготовленные Ю. Фрейдиным и С. Василенко, а также в двухнедельнике «Смена» (1989, № 2).

Выходили они уже без Н.Я.: она умерла 29 декабря 1980 года. Через два с половиной года – 2 июля 1983 года – ее личный архив, хранившийся у одного из ближайших ее друзей и наследников – Юрия Фрейдина, был конфискован КГБ после обыска у него²³. Сам Юрий Львович так охарактеризовал ситуацию: «Летом 1983 г. имевшиеся у меня мандельштамовские материалы, включая книги, фотокопии рукописей, личный архив и воспоминания Надежды Яковлевны, копию ее завещания, издания собрания сочинений О.Э. Мандельштама, а также многое из моего личного архива, – было без каких-либо законных оснований изъято у меня сотрудниками московской прокуратуры и КГБ. Полная история этой грабительской акции выходит за рамки данной статьи. Скажу только, что мои протесты, поданные вплоть до самых высоких инстанций, остались без ответа. Может быть, теперь, к 100-летию поэта, грабители или те, кто хранит награбленное, усомнятся и вернут всё законному владельцу?..»²⁴ Ссылаясь на вырванное у Фрейдина под давлением «согласие», КГБ передал архив Н.Я. в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ), кото-

рый, в свою очередь, отказался возвратить его владельцу. Бумаги Н.Я. пролежали в ЦГАЛИ-РГАЛИ безо всякого движения более двадцати лет, и вплоть до 2006 года не предпринималось ничего для их научного описания и обработки.

В эдиционном плане серьезнейший шаг вперед был сделан в 1999 году – в год столетнего юбилея со дня рождения Н.Я., – когда московское издательство «Согласие» любовно выпустило оба тома мемуаров – в новой текстологии, с новыми предисловиями, примечаниями и указателями и в едином и превосходном полиграфическом исполнении²⁵. Ю. Фрейдин и С. Василенко, составители и текстологи, соответственно, первой и второй книг, опирались на чудом уцелевшие авторские машинописи обеих книг и на их первые зарубежные издания с авторской правкой и пометами Н.Я. Предисловия написали Н. Панченко и А. Морозов, последний выступил и комментатором обеих книг.

2

Смерть Ахматовой 5 марта 1966 года потрясла всех сколько-нибудь причастных к поэзии, равно писателей и читателей. Сходное ощущение уже возникало в этом столетии, но всего несколько раз – после смерти Блока, после смерти Маяковского и после смерти Пастернака²⁶.

С уходом Ахматовой «трон», по выражению Семена Липкина, опустел: не стало последнего поэта из тех, кто определял облик Серебряного века русской поэзии. Отсюда и та внутренняя потребность записать впечатления от общения с Ахматовой, воспроизвести беседы, зафиксировать, пока не растворились бесследно в памяти, ее высказывания о литературе, о современниках, о себе самой, наконец. Эта тяга овладела десятками, если не сотнями людей, вблизи или издали, многие годы или всего по нескольким встречам знавших Ахматову.

Лучше всего это выразил Корней Чуковский в телеграмме, отправленной в Ленинградское отделение Союза писателей СССР:

Поразительно не то что она умерла после всех испытаний а то что она упрямо жила среди нас величавая гордая светлая и уже при жизни бессмертная тчк необходимо теперь же начать собирать монументальную книгу о ее вдохновенной и поучительной жизни = Корней Чуковский.²⁷

Нечто подобное, несомненно, ощущала и Н.Я.

Лев Озеров рассказал мне однажды, что на импровизированном митинге перед моргом клиники им. Склифосовского Н.Я. вдруг сказала ему: «Всё это нужно запомнить и описать!»

Не прошло и года-полтора с того момента, когда Н.Я. закончила свои «Воспоминания» – книгу об Осипе Мандельштаме, как смерть Анны Андреевны снова толкнула ее – и весьма властно – в объятия жанра.

Итак, весной 1966 года Н.Я. начала новую книгу воспоминаний, в центре которой находилась Ахматова.

Первое впечатление – предлагаемая читательскому вниманию книга была написана сразу же после смерти и похорон А.А. и чуть ли не на одном дыхании. Это, однако, если и справедливо, то лишь для сравнительно небольшой части текста.

Непосредственное отношение к этому этапу имеет, по-видимому, следующий – рукописный еще – фрагмент:

Мы никогда не думали, что доживем до старости. В каждую встречу она говорила: «Разве это не чудо, что мы опять вместе», – и каждая встреча казалась нам последней. Мы часто говорили о гибели и о конце. Узнав, что в тюрьмах избивают, она сказала: «Теперь всё ясно и даже не страшно: шапочку-ушаночку и прямо на восток». В 38 [-м], поднимаясь на шестой этаж в

квартиру, где в темной комнате-кладовке умирала моя сестра Аня, она сказала мне: «Как долго погибать...» Это было сказано про нас с ней, а не про Аню. Аня умирала, а мы медленно гибли. Этот период медленной гибели у Ани уже остался позади. О.М. сидел в эти дни на Лубянке, а в квартире Евгения Эм [ильевича] умирал, тоже от рака, заброшенный, несчастный дед. Я зашла к нему, и он умолял, чтобы к нему приехал Ося. У меня не хватило сил сказать старику, что старший его сын в тюрьме – еще одна жертва террора. Средний сын – Александр – приехал из Москвы, но уже не застал отца в живых. В больнице ему сказали, что младший, Евгений, отвез отца в больницу и ни разу больше там не показался. Старик умер один. Кто хочет такой старости? Мы с Анной Андреевной не хотели. В те дни она провожала меня на вокзал – я ехала, чтобы сделать передачу в Москве, а потом опять вернуться в Ленинград к Ане. На вокзале была черная толпа, лежавшая на мешках. Детский плач, грязь и смрад. Люди бежали – кто куда и неизвестно зачем. «Теперь всегда так будет, – сказала Анна Андреевна. – К чему тянуть?.. Хоть бы скорее...»

Мне рассказал Николай Иванович – она с ним тоже говорила о гибели: хоть бы скорее, пора, зачем... А ему надоело это слушать, и он вдруг как-то сказал: «Бросьте, Анна Андреевна, вы очень любите жизнь, вот поверьте мне, вы до старости доживете, и всегда будете прыгать...» И она замолчала и очень внимательно на него посмотрела. Ведь мы же знали ее неслыханную, необъяснимую, неистовую жажду жизни... Она впивалась в жизнь, она когтила жизнь, каждый глоток воздуха был для нее не просто вдохом, а каплей жизни, впитанной, усвоенной, захваченной и истраченной с диким вождением.

В зрелости эта страсть к жизни была обуздана и волей, и обстоятельствами. Она вспыхнула опять во время войны. Мы шли с ней по Дмитровке – уже после ждановской истории, – и она мне вдруг сказала: «Подумать, что легче всего нам жилось во время войны, а сколько каждый день убивали людей...»²⁸

Этот набросок – своего рода конспект, а точнее, зародыш всей книги Н.Я. об Ахматовой. В нем узнаваемы такие детали, как «шапочка-ушаночка» из самого ее начала (это, кстати, еще и парафраз из первой книги воспоминаний Н.Я.) или разговор на Дмитровке из середины, а также посещение Н.Я. и А.А. в 1938 году умирающей сестры Н.Я. – из самого конца.

Судя по уважительному тону, с которым здесь еще говорится о Харджиеве, страничка эта относится к самому началу работы Н.Я. над книгой об Ахматовой – возможно, к первым же дням после того, как она вернулась из Ленинграда с ахматовских похорон.

Вернулась же она 11 марта 1966 года, а уже к 16 марта работа разгорелась вовсю! «Я целыми днями пишу и сейчас [не] писать не могу (об А.А.). Кажется, выходит», – пишет она Наташе Штемпель в этот день. То же и 26 марта: «Наташенька! Спасибо за книги. Я сейчас не могу ни писать (имеются в виду письма. – П.Н.), ни жить». И уже в конце марта – а всё это время Н.Я. настойчиво зазывает ее к себе! – она как бы переводит дух и сообщает: «Мне есть что вам показать».

И Наталья Евгеньевна приехала, – судя по всему, в самом начале апреля 1966 года. Но в середине апреля – завтра или на послезавтра после ее отъезда – Н.Я. написала ей вдогонку в Воронеж: «Наташенька! Я ночью после отъезда в первый раз перечитала всё. *Никому не показывайте вторую главу.* Она вся глупо сделана. Ее нужно переделать».

Так что и в конце апреля продолжалась интенсивная работа: «Сонечка! Я сейчас влипла во всякую работу и приехать не смогу...»²⁹ То же самое – ив мае: «После смерти Анны Андреевны не могу найти равновесия. Пока почти не выхожу из дому, кроме как в магазин. Для

меня кончилась эпоха и человек, с которым я прожила всю жизнь»³⁰. Работа продолжалась, по-видимому, и летом 1966 года, в Верее, а возможно, и осенью, в Москве.

Летом Наталья Евгеньевна, похоже, еще раз приезжала к Н.Я.³¹ А 16 января 1967 года Н.Я. перечеркнула свой летний труд: «Наташенька! <... > Очень много работаю над второй книгой. Она идет не хуже первой. Ту – летнюю – надо в печку. <.. > Привет Шуре. Он очень милый, а застал меня в диком виде – в работе...»

В январе 1967 года в Москве была вдова Бенедикта Лившица, именно тогда Н.Я. прочитала ей посвященный ей зачин. Из нескольких писем Н.Я. к ней, датированных январем-мартом 1967 года, можно заключить, что именно тогда работа над мемуарами об Ахматовой завершилась (во всяком случае, так полагала тогда сама Н.Я.).

Однако гладковский дневник поправляет и тут. Двадцатого марта, проведав вечером Н.Я., Гладков записывает: «.. Застаю ее в плохом настроении. Она пишет воспоминания об Ахматовой, очень волнуясь и нервничая, и говорит: „Старуха забрала ее когтями и когда она кончит, то утащит за собой...“ У нее неважно с сердцем, и она плохо выглядит»³². А двадцать второго апреля

1967 года он делает следующую запись в дневнике:

С утра еду в ВУАП³³, потом в Лавку писателей, затем к Н.Я. К ней приходят Адмони и Нат[алья] Ив[анов]на Столярова. Пьем чай и в две руки с Адмони читаем ее рукопись об Ахматовой, где уже 155 страниц машинописи.

Много интересного и умного, но ей мало быть мемуаристкой, и она снова философствует, умозаключает, рассуждает о времени, об истории, о смене литературных школ, о стихах и даже о любви. А.А. у нее очень живая, но как-то мелковатая, позерская и явно уступающая автору мемуаров в уме и тонкости. Совершенно новая трактовка истории брака с Гумилевым: она его никогда не любила. Верное замечание, что тема А.А. – не тема «любви», а тема «отречения». Есть и случайное, и ненужные мелочи. Хотя Н.Я. сказала, что она согласна с моими замечаниями, но мне почему-то кажется, что она чуть обиделась.³⁴

И так – до середины мая: «Наташенька! <...> Я работаю, и это очень растет». Так что самое раннее, когда книга Н.Я. об Ахматовой была завершена, – конец мая 1967 года.

3

После окончательного разрыва с Н.Х., произошедшего тогда же – в мае 1967 года, Н.Я. «приняла меры». Тридцатого июня, в последний день перед отъездом на дачу, она зарегистрировала у нотариуса следующий документ:

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

1. Я прошу моих друзей – Иру Семенко, Сашу Морозова, Диму Борисова, Володю Муравьева и Женю Левитина – принять весь груз, который я столько лет несла, и работать дружно, вместе, заботясь лишь о том, чтобы лучше донести наследство Мандельштама до того дня, когда его можно будет опубликовать и открыто заговорить о нем.

2. Я прошу не выпускать из рук архива, чтобы этим закрепить за собой право на издания. После издания я хотела бы, чтобы архив поступил в какой-нибудь архив, но я не хочу, чтобы он доставался архиву *бесплатно*. Мандельштам всегда настаивал на том, что его стихи стоят дороже других. Я

настаиваю на том, чтобы за его архив (после всестороннего опубликования) было заплачено как можно больше.

3. Архив принадлежит всем пятерым, а хранится там, где в данное время это безопаснее.

4. Архивом может пользоваться каждый из пятерых для своих целей. Где и как читаются материалы, решается совместно.

5. Я прошу предоставить Ирине Михайловне Семенко исключительное право на расшифровку стихотворного материала, Диме и Саше – работу над прозой. Это не исключает права любого из пятерых заниматься любой областью. Володю и Женю я прошу подготовить к печати мое личное наследство (обе книги) и провести мелкую редактуру, бережно отнесясь к смыслу.

6. Прошу пятерых составить редколлегию всех будущих изданий и не допускать к наследству О.М. и моему никаких ловкачей и жуликов. Если пятеро захотят привлечь кого-нибудь к изданию, пусть они решают это вместе. Я прошу, чтобы в старости каждый выбрал себе продолжателя, одобренного всеми. Иначе говоря, чтобы всегда существовала комиссия, охраняющая это наследство от вторжений. Лучше отложить издание, чем дать его в руки негожих людей.

7. Я прошу, пока жив мой брат, Евгений Яковлевич Хазин, доходы от изданий, если они будут, предоставлять ему. То же относится к Фрадкиной Елене Михайловне.

8. Прошу выжать из этого наследства максимум денег и совместно решать, что с ними делать. Но также прошу помогать из этих денег Юле Живовой и в случае бедствия Варе Шкловской.

9. Если будет конвенция, прошу передать право на распоряжение этими материалами за рубежом (право опубликования, право перевода) Кларенсу Брауну и Ольге Андреевой-Карлайль.

10. Умоляю извлечь из этого наследства максимум радости, не презирать денег и восполнить своими удовольствиями то, чего были лишены мы с О.М. Умоляю работать дружно и вместе, не поддаваясь соблазнам мелкого собственничества и исключительности, которых был начисто лишен сам Мандельштам. Работать вместе и помнить, что всё делается для него.

11. Прошу всех лиц, имеющих прямые или косвенные материалы по Мандельштаму, предоставить наследникам для использования все свои материалы.

Надежда Мандельштам Москва, 30 июня 1967 года.

Номер завещания, хранящегося в первой конторе на Мясницкой (Кировской), 2д, – 3415.³⁵

В этом документе упоминаются «обе книги» самой Н.Я., и второй из них, бесспорно, является книга об Ахматовой.

Однако осенью 1967 года Н.Я., по свидетельству В. Борисова, уничтожила ее рукопись. О том, как и почему это произошло, еще будет сказано ниже, здесь же проследим за хронологией событий, приведших к отказу от одной книги и написанию вместо нее другой, названной впоследствии вполне акмеистически – «Вторая книга», как бы в переключку со «Второй книгой» О.М.

Окончательное решение поступить именно так, и не иначе, пришло Н.Я., вероятнее всего, в середине июля в Ленинграде, где она выступала свидетельницей на процессе о судьбе ахматовского наследства. К этому времени, собственно говоря, работа над «Второй книгой»

шла хотя и исподволь, но всюю: вырвав в мае у Н.Х. мандельштамовский архив, Н.Я. всё лето его разбирала и, по мере разбора, всё более и более гневалась на Н.Х. Тогда-то она и написала очерки «Архив» и «Конец Харджиева», посвященные печальной истории мандельштамовских рукописей. Они не вошли во «Вторую книгу», но были основательно в ней использованы, а главное – многое определили в направленности и тональности книги.

Конец 1967 года и начало 1968 года прошли, видимо, под знаком продолжения разбора архива и писания комментария к стихам 1930-х годов. Не забудем, что примерно в это же время – вероятнее всего, в 1968 году, когда работа над архивом как таковая была уже позади, – Н.Я. взялась и еще за одно произведение – эссе «Моцарт и Сальери». В нем почти нет историко-мемуарно-го импульса – биографических деталей и исторического контекста, – это продолжение размышлений Н.Я. о природе поэтического творчества, ее вклад в *ars poetica* Мандельштама, своего рода переключка с «Разговором о Данте».

Эпистолярно-биографических вех, документирующих работу Н.Я. над «Второй книгой», еще меньше, чем в первых двух случаях. Почти все они, собственно, восходят к переписке Н.Я. с Натальей Евгеньевной Штемпель и начинаются, самое раннее, только с 31 июля 1968 года: «Немножко работаю, но очень мало». Следующая полусушительная вешка датируется сентябрем того же года:

Вроде пробую работать, но почти ничего не выходит. Не знаю, как быть. Варлаам раздувает ноздри и говорит, что <...> существует специальная литература жен, писавших о своих мужьях. Этой литературе никто, как известно, не верит. Поэтому Варлаам советует немедленно перестать писать об Осе. Я даже затосковала: попасть в эти жены обидно, но это единственное, о чем мне хочется говорить и о чем мне есть что сказать. Беда...

Лейтмотив всех последующих весточек Н.Я. один и тот же – ее усталость, «урывочность» и вялость ее работы над книгой: «Жить очень трудно. Я всё же пробую работать. Идет вяло. Как-то руки опускаются от всей сложности жизни» (10 октября

1968 года); «Я работаю урывками, но всё же что-то делаю. Господи, хоть бы доделать» (11 апреля 1969 года); «Я смертно усталая вхожу в эту зиму. Болею. Скучаю. Работаю (очень медленно), тоскую. Очень хочу вас видеть. <.. > Думаю, что у меня еще год работы, а там я всё кончу» (30 сентября 1969 года). Работала Н.Я., как правило, лежа, печатала на старенькой машинке, один экземпляр – порциями – забирала на хранение Леля Мурина³⁶.

И наконец весной 1970 года – краткое и сухое сообщение: «Работу кончила. Летом устраню мелочь». Тогда, по всей видимости, Н.Я. показывала Штемпель свою машинопись и получила от нее одобрение. Отсюда – благодарный и несколько более бодрый тон последнего упоминания работы над «Второй книгой»: «Спасибо за доброе слово... Но я думаю, это еще сырье. Работы много впереди. До конца жизни хватит – лишь бы успеть. Я усталая и грустная» (1 июня 1970 года).

Собрав несколько таких же суждений, как Наташино, Н.Я., возможно, кое-что и поправила в книге, а может быть, и нет. Во всяком случае в октябре 1970 года рукопись (точнее, машинопись) уже пересекла границу СССР – на Запад ее вывез Пьетро Сормани, московский корреспондент итальянской газеты «Corriere Della Sera». В декабре 1970 года, выполняя распоряжение Н.Я., он передал ее Никите Струве, которому Н.Я. делегировала все права по изданию «Второй книги» на Западе (кроме Италии), в том числе право на редактирование ее манускрипта³⁷.

Пытаясь перенести на Запад опыт советских Комиссий по литературному наследию (а точнее – неиспробованный опыт той «Комиссии одиннадцати», о которой она писала в декабре 1966 года в «Моем завещании»³⁸), Н.Я. создала своеобразный «Комитет четырех» – орган, призванный координировать все действия по изданию и переводу ее книг на Западе, в

том числе правовые и финансовые³⁹. В состав «четверки» входили Ольга Андреева-Карлайль (с правом замещения Натальей Резниковой), Никита Струве, Кларенс Браун и Пьетро Сормани. Каждый делал, что мог и как мог, и, хотя старшего среди них не было, реальные усилия по изданию и координирующая роль по переводам концентрировалась в Париже, у Струве. И если между членами «четверки» и возникали разногласия, то одно их соучастие в этом необычном коллективном органе чисто психологически удерживало каждого от каких-либо резких или несогласованных движений.

Сама Н.Я. больше всего была заинтересована в скорейшем и полном издании прежде всего русского оригинала своей книги. И вот в середине 1972 года «Вторая книга» вышла в парижском издательстве YMCA-Press, руководимом Н. Струве. Как и первая книга, она выдержала на Западе несколько изданий и была переведена на многие языки.

II. «Вся наша жизнь прошла вместе...»

*Пусть и мой голос – голос старого друга —
прозвучит сегодня около вас...*

А. Ахматова

В этой жизни меня удержала только вера в вас и в Осю.

Н. Мандельштам

Для Надежды Яковлевны Ахматова была не просто поэтессой Серебряного века или подругой акмеистической юности покойного супруга. Она сама знала Ахматову без малого полвека, если вести отсчет с лета 1924 года, когда Мандельштамы перебрались из Москвы в Петербург, а потом в Детское (оно же Царское) Село. Осип Эмильевич привел тогда на Фонтанку свою молодую киевлянку-жену. «С этого дня, – записала в «Листках из дневника» А.А., – началась моя дружба с Надюшей, и продолжается она по сей день»⁴⁰. Эта дружба никак не вписывалась в разряд эпизодических отношений с женой или вдовой друга, она была мощной и самостоятельной силой, лучом, ярко освещавшим четыре с лишним десятилетия до дня смерти Ахматовой и еще пятнадцать лет после ее смерти. Переписка между ними, несмотря на всю неполноту сохранности, отчетливо передает эту силу.

Дважды по несколько лет А. А. и Н.Я. прожили в одном городе или почти в одном – четыре года в середине 1920-х, когда Мандельштамы жили в Детском Селе, и около двух лет в Ташкенте, в годы эвакуации, где какое-то время они жили буквально бок о бок⁴¹. Все остальные годы они прожили на изрядном расстоянии друг от друга.

А.А., ставшая невольной свидетельницей ареста О.М. и настойчивой просительницей за его освобождение, собиралась посетить и посетила его и Н.Я. и в Воронеже. Двенадцатого июля 1935 года она написала ему в Воронеж следующее письмо:

12 июля

Милый Осип Эмильевич, спасибо за письмо и память. Вот уже месяц, как я совсем больна. На днях лягу в больницу на исследование. Если всё кончится благополучно – обязательно побываю у Вас.

Лето ледяное – бессонница и слабость меня совсем замучили.

Вчера звонил Пастернак, который по дороге из Парижа в Москву очутился здесь. Кажется, я его не увижу – он сказал мне, что погибает от тяжелой психастении.

Что это за мир такой? Уж Вы не болейте, дорогой Осип Эмильевич, и не теряйте бодрости.

С моей книжкой вышла какая-то задержка. До свиданья.

Крепко жму Вашу руку и целую Надюшу.

*Ваша Ахматова*⁴²

Приезд А.А. несколько раз переносился, но все-таки состоялся – с 5 по 11 февраля 1936 года. Надо ли говорить о том, какой радостью, каким подарком была эта встреча для обоих?

В стихотворении «Воронеж» А.А. написала об О.М.: «А в комнате опального поэта Дежурят страхи Муза в свой черед. И ночь идет, Которая не ведает рассвета». Она прочтет эти стихи адресату только в мае 1937-го, когда Мандельштамы ненадолго вернутся в Москву.

Небольшое письмо, отправленное в Воронеж, было скорее исключением в переписке А.А. с Мандельштамами. Телеграмма, казалось, была для нее более органичным эпистолярным «жанром». На десяток ее телеграмм к Н.Я., считая и коллективные, приходится всего четыре

письма, каждое из которых по объему не сильно превышало телеграмму. А вот Н.Я., состоявшая в переписке сразу со множеством корреспондентов, письма писала помногу и щедро, – ее скитания по провинции просто не оставляли ей другого выбора. В переписке с А.А., охватившей два десятилетия – с 1944 по 1964 год, – письма Н.Я. явно преобладают.

Если А.А. поделила свою послевоенную жизнь – и даже смерть! – между Ленинградом и Москвой, то бездомной Н.Я. пришлось изрядно поколесить по вузовским городам Союза: с 1944 по 1949 год она работала в Ташкенте, в Среднеазиатском госуниверситете, с 4 февраля 1949 по апрель 1953 года – в Ульяновске⁴³, с сентября 1953 по август 1955 года – в Чите, с сентября 1955 по 20 июля 1958 года – в Чебоксарах, где она даже заведовала кафедрой. В 1959–1960 годах она в Тарусе, где прописалась, а с сентября 1962 по конец весны 1964 года – во Пскове, и уже после Пскова – с передышкой снова в Тарусе, – пока наконец поздней осенью 1965 года не переехала в Москву, в собственную кооперативную квартиру, приобретенную с помощью К.М. Симонова. Лето у Н.Я. почти всегда подмосковное, в Тарусе или, с 1966 года, в Верее, а начиная с 1970-х годов – в Переделкине или Кратове.

Переписка Н.Я. и А.А. началась с отъезда А.А. из Ташкента. Прилетев в Москву 15 мая 1944 года, она провела в столице две с небольшим недели. Именно в эти московские дни и ушла в Ташкент, на Жуковскую, 54, бодрая ее телеграмма, открывающая эту переписку. Н.Я. в Ташкенте не находила себе места без А.А., она жаловалась Б.С. Кузину на то, как без нее трудно и грустно⁴⁴. Кроме того, молчание А.А. ее пугало, – и, в ответ на ее безответные письма и телеграммы (не сохранившиеся), А.А. отозвалась, наконец, второй телеграммой. И только в третьей – в июле – известила Н.Я. о своей личной трагедии – разрыве с В.Г. Гаршиным.

Следующая группа писем и телеграмм – 1957–1958 годов – относится к «чебоксарскому» периоду Н.Я. В марте 1957 года ей понадобился адрес Таты Лившиц, и А.А. тотчас же отбила телеграмму в Чебоксары. Письма Н.Я. вращаются в основном вокруг внешних событий – Комиссии по наследию О.М., коваленковской провокации⁴⁵, книги в «Библиотеке поэта», а также квартиры в Москве, куда Союз писателей намеревался поселить их обеих и вместе. Из этой затеи так ничего и не вышло: не только А.А. сама отказалась от квартиры, но одновременно и Н.Я. отказали в предоставлении любой жилой площади в Москве вообще, о чем она узнала, правда, с некоторым опозданием⁴⁶. Со временем, когда трудности, которых не избежать в случае, если бы совместное проживание А.А. и Н.Я. состоялось, стали заслонять упущенные радости от того же самого, Н.Я. даже написала Н.Х.: «Мне ее очень жаль, но всё же хорошо, что она отказалась тогда от квартиры».

Постепенно на первый план выходит будущая книга стихов Мандельштама. В 1958 году, когда договор с Н.Х. уже был подписан, а книга стояла в плане, рассуждения и тревоги Н.Я. по этому поводу заслоняют буквально всё. Но начиная с 1959 года, когда, после короткой мартовской поездки в Ташкент, Н.Я. поселилась в Тарусе, ее переписка с А.А. приобрела устойчивую «ахматово-центричность» – отзывы о книгах О.М., просьбы об экземплярах и о «Поэме», отклики на события ее жизни, воспоминания былых встреч и переговоры о встречах грядущих. Лишь изредка мелькают упоминания о других людях и событиях – колючая встреча с Ариадной Эфрон, трудная защита у Егора Клычкова, оказии в Ленинград. Лейтмотивом же идут зазывания А.А. в Тарусу, где, по мнению Н.Я., рай в любое время года, а Паустовский, приедь А.А., скупил бы пол-Елисейского.

В конце 1961 года (Н.Я. в это время, читая Владимира Соловьева, обнаружила, что он был хорошо известен и Мандельштаму) О.М. вновь возвращается на страницы их писем, а с ним и сама Н.Я.: «Пришлите мне что-нибудь – письмо, слово, улыбку, фотографию, что-нибудь. Умоляю... Я ведь тоже человек – все об этом забывают, – и мне бывает очень грустно в этой самой разлуке. Мое поколение сейчас психически сдает – Эмма, Николаша, я». И там же – уж совсем неожиданное: «Вот я бы взяла заказ на книгу: „Русская философская школа.

В. Соловьев. Теория нравственности и познания“. Докторская диссертация или популярный очерк на 10 печатных листов». Это, по сути, едва ли не первая заявка Н.Я. на писательство, а не просто свидетельство того, что она ощутила в себе литературный дар и как бы подыскивает себе подходящую тему. Порой Н.Я. откровенно веселится и даже сообщает А.А., что Н.Х. снова не прочь стать их «общим».

Весной (скорее всего, на майские праздники) 1963 года Н.Я. приезжает к А.А. в Ленинград. Возвратившись, она пишет ей с благодарным восхищением:

Ануш, дорогой мой! Очень трудно от вас уезжать. <... >

Думаю, что уж и мне пора написать вам о «Поэме». Я эту зиму очень о ней думала. Постараюсь собраться с мыслями и сделать это. А сейчас о вас. Мне нечего говорить о том, как я вас люблю, как я счастлива, что у Оси есть такой несравненный друг, и о том, какую жизненную силу я получила от вас. Это и я, и вы знаем – для нас это не новость. Мне о другом хочется – какая вы прелесть. Умница, веселая, красивая. Просто прелесть. <...> Умница, роднуша, прелесть.

В октябре 1963 года Н.Я. возвращается и к «Осиной книге»: «Новостей у меня нет. Про Осину книгу вы знаете. Ну их всех к... Равнодушной мне быть надоело. 27 декабря (если верить этой дате) 25 лет со смерти Оси. Подумайте, четверть века...»

А свое обещание написать о «Поэме без героя» Н.Я. выполняет уже в самом начале следующего года:

В сталинские дни мы были так измучены общим давлением эпохи, что могли думать и говорить только о том, что было связано непосредственно с ней. Сюда подходит вся тема «невстречи», и многое, и «Поэма» (взгляд настоящего-будущего на прошлое и на предчувствие будущего, которое охватило людей, стоявших на пороге надвигающейся эпохи). Это движение пластов времени, которыми вы орудуете в «Поэме», очень характерное чувство для нашей жизни. <...>

И еще об одном. О том, что история, эпоха, течение времени, просто само время, наконец, действуют на нас, на наши чувства и мысли гораздо больше, чем мы могли предположить. Казалось, что мы всегда мы, запуганные или успокоившиеся, плачущие или спящие. Оказывается – это не совсем так. Время, как будто, это и есть наша «несвобода», наше «изгнание из рая», наши настоящие оковы. Не возраст, а само его течение. В такие эпохи, как наша, это наглядно.

Это письмо заметно выделяется во всей переписке. До известной степени его можно уподобить эскизу, причем к обеим книгам Н.Я. – и к той, которую она в это время заканчивала, и к той, которую еще не начинала.

А 27 декабря, спустя ровно четверть века после гибели О.М., Н.Я. получила от А.А. следующую телеграмму: «Пусть и мой голос голос старого друга прозвучит сегодня около Вас крепко целую = Ваша Ахматова». Вдогонку пришло и письмо, датированное тем же числом:

Надя,

посылаю Вам три странички – это в «Листки из дневника», которыми я продолжаю постоянно заниматься. Вероятно, кончится небольшой книгой.

Думали ли мы с Вами, что доживем до сегодняшнего Дня – Дня слез и Славы. Нам надо побыть вместе – давно пора.

У Вас, то есть у Осипа Эмильевича, всё хорошо. <... >

Ваша Ахматова

Н.Я. ответила А.А. 29 декабря 1963 года:

Ануш, мой друг! Спасибо вам за всё – за телеграмму, за листки из дневника, за записочку.

Понимает ли мой старый друг Анна Андреевна, Ануш, Аничка, Анюта, что без ее дружбы я никогда бы не дожидая до этой печальной и хорошей годовщины – двадцатипятилетия? Конечно, понимает. Ведь всё было так наглядно.

В этой жизни меня удержала только вера в вас и в Осю. В поэзию и в ее таинственную силу. То есть чувство правоты. <...> Я вас очень люблю и всегда о вас думаю – каждый день.

Ваша Надя

А 23 июня 1964 года уже Н.Я. поздравляла А.А. – с ее предпоследним, как оказалось, днем рождения: «Анечка вся наша жизнь прошла вместе Я вспоминаю всё целую вечного друга в день семидесятипятилетия»⁴⁷.

И жизнь А.А., и жизнь О.М., как, впрочем, и жизнь Н.Я., были отданы русской поэзии и стали манифестацией той самой таинственной силы и внутренней правоты.

Быть может, лучшим доказательством этого могла бы стать книга об Ахматовой, которую написала и от которой отказалась Н.Я.

III. Тата и лютик

Я с мертвыми не развожусь...

Е. К. Лившиц

К нам всё липнет.

А. А. Ахматова

1

Органическим началом книги Н.Я. об А.А. послужила новелла о Екатерине Константиновне Лившиц, или, как ее звали все подруги, Тате, или Таточке. О том, сколь близко были знакомы Н.Я. и Екатерина Константиновна, говорит уже то, как к ней обращалась Н.Я., – на «ты». Единственный (кроме родственников), к кому она обращалась так же, – был Илья Эренбург (тоже, кстати, киевлянин).

Весной 1919-го, когда О.М. и Н.Я. познакомились и «бездумно», как она вспоминала, сошлись в Киеве, Наде Хазиной было неполных двадцать, а Кате Скачковой (или Скачковой-Гуриновской), ее подруге, – и того меньше, семнадцать лет. Надя, как и другие ее подружки – Люба Козинцева и Соня Вишневецкая, – занималась живописью у Александры Экстер, а Тата была начинающей балериной, ученицей балетной студии Брониславы Нижинской, актрисы Мариинского театра, а затем дягилевской труппы, сестры знаменитого танцовщика.

Всех, кто лично знал Екатерину Константиновну Лившиц, поражала ее удивительная цельность, открытость и не зависящая от возраста грациозность. Общение с ней, вне зависимости от ее физического состояния, всегда было по-особому насыщенным и праздничным, в ее безукоризненных речи, способе мыслить и осанке вживе являла себя непредставимая уже эпоха.

Она родилась 25 сентября 1902 года в Киеве, в интеллигентной офицерской семье (свою неожиданную для нее самую стойкость к бесчисленным жизненным невзгодам и испытаниям она, улыбаясь, не раз объясняла для простоты именно этим – «офицерская косточка»).

С Бенедиктом Лившицем она познакомилась зимой 1920 года, когда он увидел ее на репетициях у Брониславы Нижинской... Затем – прогулки по городу, по Днепру, разговоры о любимых поэтах... В июне 1921 года Бенедикт Константинович Лившиц и Екатерина Константиновна Скачкова-Гуриновская обвенчались (на этом настаивал жених, только что – и с невероятным трудом! – расторгший узы своего гражданского и церковного брака с Верой Александровной Вертер-Жуковой). Лившиц венчался в визитном костюме и чужой сорочке с пластроном, а невесте родители в каждую туфельку – чтобы богато жилось – зашили по империалу.

Но это не очень-то помогло: «Видели бы мои предусмотрительные родители, – писала Е.К. Лившиц в своих незаконченных «Воспоминаниях», – как я вернулась с Урала, не имея права жить в Ленинграде, без паспорта, с соответствующей справочкой, в бушлатике, перешитом из старой шинели, верно служившей неизвестному мне русскому солдату все военные годы, и с 17 рублями в кармане, заработанными мною за 5 лет!»⁴⁸

В ночь с 25 на 26 октября 1937 года Бенедикта Константиновича забрали как участника заговора писателей против Сталина во главе с Н. Тихоновым и А. Толстым⁴⁹. Приговор – «десять лет без права переписки» – сегодня уже не нуждается в разъяснениях. В 1938 году арестовали и Тату как члена семьи врага народа. В промежутке между мужниным и собствен-

ным арестами ей суждено было пережить еще и такой удар, как отказ киевских и проскуровских родственников мужа взять к себе «зачумленного» племянника: насильно осиротевшего Кирилла приютили и спасли совершенно чужие люди!

Родился Кирилл – или, как все его называли, Кика – 25 декабря 1925 года. Его крестными отцом и матерью были Михаил Кузмин и Надежда Мандельштам. Мальчик был крупным, в отца, рос здоровым и сильным, был помешан на морях и презирал всё женское и штатское. Своим умом дошел до истины, что «капиталисты» – это такие люди, которые копят деньги, а напульники называются так потому, что они защищают пульс человека, в том числе и пульс бойца, что примиряло его гордый дух с печальной необходимостью надевать эти самые напульники. В 1941 году десятиклассник Кирилл Лившиц записался добровольцем на фронт, но был демобилизован по малолетству и вскоре, вполне вкусив блокады, был эвакуирован в Свердловск. Оттуда, подделав документы (накинув себе пару лет), он снова попадает в армию и едет на фронт – матросом Волжской флотилии. И уже 18 октября 1942 года он погибает под Сталинградом, попав под бомбежку. Похоронили его на Мамаевом кургане...

К этому времени Таточка – его мать – уже почти отсидела свои пять лет в Севураллаге (в Сосьве). В 1943 году она вышла из лагеря, но лишь в 1955 году вернулась из ссылки и поселилась в Ленинграде. Здесь она долгое время жила, зарабатывая пишушкой машинкой, и еще на гроши от переизданий многочисленных переводов, сделанных в свое время ее заботливым и любящим мужем.

2

Живя в разных городах, вдовы Мандельштама и Лившица не переписывались. Та дружба, то теснейшее общение, что при живых Бене и Осипе были самоочевидностью, – после их гибели уже не восстановились. Видимо, слишком много и тяжело досталось каждой из них, чтобы дружба мужей перешла во вдовью. Центр тяжести их привязанности был да так и остался в прошлом.

У Н.Я., когда она всё же собиралась писать, даже адреса Таты не оказывалось. В таких случаях ей дважды пришлось прибегнуть к услугам А.А. Первый раз – 3 марта 1957 года, когда Н.Я. хватилась и не нашла утерянное свидетельство о браке с О.М.:

Я еще могу оказаться не вдовой. Тогда вдовой будет Евг. Эм. Это очень смешно, но всё же может быть маленьким осложнением. Тата Лившиц – была, кажется, свидетелем этой грозной процедуры в Киеве в 1922 году. (Меня без этой бумажки не брали в штабной вагон.) Нельзя ли попросить ее написать соответствующее показание? Я не знаю ее адреса.

Второй раз – спустя десять лет, в связи с историей вокруг мемуаров Ольги Ваксель.

Впрочем, у этой дистанции между двумя вдовами были свои преимущества и немалые. Во-первых, это право на «внепартийность»: Тата, конечно же, всегда была в курсе всех актуальных ссор и конфликтов Н.Я., но никогда не бывала в них вовлечена. Во-вторых, отношения сами по себе складывались ровные – из такого далёка уже никакая кошка не перебежит дорожку.

Письма Н.Я. к Тате Лившиц без труда уместились в пределах одного года – того самого 1967-го, весной которого Н.Я. закончила свои воспоминания об Ахматовой. В марте – взволнованность, страстное желание видеть, показать, дать почитать рукопись. А осенью – почти полная отрешенность от всего этого, погруженность в быт и будни, пускай и скрашенные выходом «Разговора о Данте». О событиях, заставивших Н.Я. отказаться от самого замысла книги об Ахматовой и стать на другие рельсы, в ее письмах к Таточке Лившиц нет ни единого слова. С Наташей Штемпель она этим делилась, с Татой – нет.

Впрочем, «лейтмотив» у этих писем Н.Я. всё же был, но совершенно иной – Лютик, прелестная Ольга Ваксель, едва не разлучившая в свое время ее с О.М., Лютик – на жизнь и на смерть которой Мандельштам отозвался гениальными стихами.

В самом начале 1967 года Н.Я. посетил Евгений Эмильевич Мандельштам и показал ей воспоминания Лютика, вернее, их фрагмент о Мандельштамах, любезно перепечатанный для него на машинке сыном Лютика. Эти страницы взволновали Н.Я. до чрезвычайности, – ей всё мерещилось (и это впоследствии подтвердилось), что фрагмент этот не полный, что есть в этих воспоминаниях что-то еще! Это «что-то еще» потому так и взволновало Н.Я., что было не вымыслом, а правдой, и то, как оно преломилось или могло преломиться в чужих воспоминаниях, волновало и задевало ее. Убедиться в том или ином, но так, чтобы миновать при этом Евгения Эмильевича, – стало для Н.Я. глубокой потребностью и чуть ли не идей-фикс. Так что общительная и доброжелательная Таточка, знавшая среди прочих и Арсения Арсеньевича Смольевского, сына Ольги Ваксель, могла бы оказаться Н.Я. в этом деликатном деле весьма полезной!..

И все-таки дистанция между Ольгой Ваксель и Татой Лившиц оказалась или показалась Н.Я. слишком короткой, опасно короткой, – ведь многое тогда, в середине двадцатых, Таточка видела своими глазами и слышала своими ушами. Поэтому Н.Я. передумала и решила действовать через другого «своего» человека – надежного и доверенного, но все-таки из другой эпохи.

Этим человеком был Александр Константинович Гладков, «литературовед и бабник», как она сама его однажды охарактеризовала. Восьмого февраля 1967 года Н.Я. отправила ему нижеследующее письмо, поражающее двумя моментами – длиной и откровенностью. Но иначе, правда, было не объяснить ту самую настоящую панику, что в письме Н.Я. названа «легким испугом», и тот случившийся с ней припадок «ужаса публичной жизни» – мол, «всё выходит наружу, да еще в диком виде»:

Дорогой Александр Константинович!

У меня к вам трудное и сложное дело. Оно настолько интимно, что должно остаться между нами. Почему-то у меня появилась надежда, что вы сможете мне помочь. <... > Дело в том, что героиня нескольких стихотворений О.М. («Жизнь упала, как зарница», «Я буду метаться по табору улицы», «Возможна ли женщине мертвой хвала») вышла замуж за какого-то норвежца (29-30-31 год) (в Осло, а не в Стокгольме), умерла в Осло (самоубийца, выстрелила себе в рот), а перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары. Муж отвез их сыну, живущему в Ленинграде (сплошная патология – и она, и муж – [и] мемуары!). У этого сына культ матери, который выражается в том, что он всем раздает ее мемуары и фотографии (они были у Анны Андреевны и у многих других). Хочет меня видеть. Хорошо бы обойтись без меня... Но выяснилось, что мне нужно увидеть эти мемуары, надиктованные мужу. Ужас публичной жизни заключается в том, что всё выходит наружу, да еще в диком виде. Я ничего не имею против варианта, что О.М. мне изменил, мы хотели развестись, но потом остались вместе. Дело же обстоит серьезнее.

Женщина эта, видимо, была душевнобольная. Ося расстался с ней безобразно. После встречи в гостинице (это и его, и ее версия) он вернулся домой и застал меня со сложенным чемоданом, через минуту за мной пришел Татлин (всё это только вам: не говорите даже Эмме). (Про Татлина – он всегда был один, и я знаю не один случай, когда женщина, меняя мужа или выбирая себе второго, временно сходилась с Татлиным.) Произошла легкая сцена, Татлин пожаловался, что ему сорок лет и у него нет жены, а Ося увез меня в Детское Село, где мы ссорились и я рвалась уйти; потом приехала Анна Андреевна и как-то всё забылось. Вот грубое содержание этой драмы.

Это 25 [-й] год. Я тогда посоветовала Татлину поискать жену на Украине – там их много. А его как раз приглашали туда. Он послушался и поехал, расставшись со мной. Жену оттуда привез. Итак, я сыграла роль в его жизни, не только постельную.

Ося при мне позвонил этой женщине по телефону и сказал ей, что уезжает и больше ее видеть не хочет («потому что вы плохо относитесь к людям» – всё). Хамство, как видите, полное. Да еще я ее позвала к телефону.

Через несколько лет она пришла к нам в Детское Село. Я ей рассказала, как со мной хамила ее мать. Это всё, что касается Оси и что я знаю.

После О.М. среди толпы других она жила с Евг [ением] Эмильевичем. Он возил ее на Кавказ. (Именно после этого она к нам пришла в Детское.) Евгений Эмильевич недавно явился ко мне и рассказал про дневник, и я слегка испугалась. Кажется, она мстит в нем Оське за это дикое прощание.

Несколько слов об этой женщине. Ее звали Ольга Ваксель. Дочка Львовой – б[ывшей] фрейлины. Хороша была как ангел. Ничего подобного в жизни я не видела. Тогда – благородно и приятно. Целыми днями сидела у нас и плакала. Пол был мокрый от слез. У меня всегда с ней были хорошие отношения. Я не ссорилась с «соперницами», а только с мужиком.

Теперь чего я боюсь. Всё началось по моей вине и дикой распушенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать). Второе: она пишет об Осе зло (как сказал Евг[ений] Эм [ильевич]). Нет ли клеветы?.. Для этого мне надо знать, что там. На клевету похоже. Уже тогда у нее были почти маниакальные рассказы о бросивших ее любовниках, которые не подтверждались ничем (эротические, нередко садистические (хотя она была нежна, добра и безобидна) и тому подобное). Единственная ее особенность: она ходила по Ленинграду и давала всем и всё. Потом переехала в Москву и служила в Метрополе. Там и нашла мужа. Жаль ее ужасно. Знаете, у Фоукнера есть женщина, чудо любви (мать Линды⁵⁰) – это она, Ольга Ваксель, или Лютик, как ее звали.

Вот моя проблема: я бы хотела знать подробно, что в этом дневнике (вместе с эротикой). Противно это безумно, и я бы с радостью избавила себя от этого удовольствия, но надо это сделать. Нашел сына Мануйлов. Обо всем этом знает и Таточка Лившиц, но ее, если можно, не надо бы вмешивать. Нельзя ли через Мануйлова получить этот дневник, чтобы избавить меня от удовольствия ехать к сыну? Или съездить вам – огромная дружеская услуга – рассказать про Фоукнера, про чудо красоты и про то, что я видела у Анны Андреевны фотографии, но ни одна не передает реального очарования этой необыкновенной прелести... Сын тоже сумасшедший и ищет всех, кто хочет поговорить об его матери... Не можете ли вы мне помочь?

Еще такая деталь: она пишет, что после того, как зашла к нам в Детское (осенью 27 года), она опять встречалась с О.М. и всё, что она прогнала его... (когда: в первый раз или во второй?) Ося никогда не врал. До смешного. Но про эти вторичные встречи я не знаю. Были ли они в Ленинграде (возможностей для них почти не было: мы ездили из Детского в Ленинград вместе, было много разного, но совсем другого плана) или в Москве (он задержался на месяц в Москве, когда я была в Ялте; это хлопоты о «пяти» из «Четвертой Прозы»; жил он у моего и у своего брата). Служила ли Ольга в Метрополе ранним летом 28 года? Если да, то это бросает очень неожиданный свет на кое-какие события

(связь с Метрополем), к которым сама Ольга, надеюсь, никакого отношения не имела. Я думаю, и в Метрополе она в каких-то отношениях была чиста. Об этом я вам расскажу при встрече.

Почему я обращаюсь к вам. Проклятая, как я называю это, публичность может вытащить эти мемуары наружу. Вы, я знаю, думаете об О.М. и любите курьезные документы. Мне безумно не хочется ехать к сыну; не хочется ворошить всё это самой. А вы мне друг и способны прийти на помощь. Вы умны и знаете меня – что здесь нет безумного любопытства сумасшедшей старухи. Вы литературовед и бабник, следовательно, знаете, что такое женская месть и клевета. К Евг. Эм. я обратиться не могу: у него есть эти мемуары и он мне их предлагал. Но этого я не хочу: он грязный тип.

И наконец последнее, очень интимное. О.М. мне клялся в очень странной вещи (я вам скажу, в какой, при встрече), в которую *я не верила и не верю*, но если это правда, то она могла быть очень дико истолкована бедной Ольгой. Дико ворошить всё это на старости лет. Но что делать? Помогите, если можете.

Ведь Мануйлову вы можете сказать что угодно: биография О.М., например. Если не хотите говорить с Мануйловым, спросите у Таточки Лившиц. (Я когда-то ей сказала, что не люблю О.М. – в этом выразилась моя ревность в период его романа с Ольгой.) Сын Ольги меня хочет видеть – можно, узнав его имя и адрес, – попросить всё это для меня, сказав, что я так стара, что не могу приехать. Я готова написать ему письмо с описанием красоты его матери... Только помогите и избавьте меня от встречи. Чортова молодость: сколько осложнений она оставляет в жизни.⁵¹

Двенадцатого февраля 1967 года Гладков записал в дневнике:

Страннейшее письмо от Н.Я. с рассказом (длинным) о каких-то изменах ее с Татлиным и О.Э. с Ольгой Ваксель в 25–27 гг. и просьбой найти сына О. Ваксель и попросить у него дневник матери. Будто бы там может быть какая-то «клевета» и пр.

Я человек любопытный и могу этим заняться, но зачем это Н.Я.?⁵²

Но перед Гладковым Н.Я. почти и не скрывалась, зачем. Одна правда в воспоминаниях Лютика пугала ее больше любой напраслины – возможные намеки на ее, Н.Я., склонность к лесбиянству и на склонность О.М. к «мормонству»⁵³. Скандал такого рода мог быть запросто использован недоброжелателями и против О.М., и против ее самой: под этим предлогом могла бы серьезно осложниться и ситуация с книгой в «Библиотеке поэта».

Одновременно Н.Я. просила Гладкова поискать надежного свидетеля смерти О.М. – академика Е.М. Крепса (или Гревса, как она его называла). Видимо, Гладков проявил оперативность, так как 17 февраля Н.Я. снова писала ему:

Дорогой Александр Константинович!

Спасибо, что вы так быстро откликнулись. О Гревсе я знаю от Евг. Эм. Он тоже бывший теннисист и врач. Это всё. Евг. Эм. явился ко мне с неизвестной целью и показал клочки своего знания... За более подробный отчет он потребует платы: чтобы я изображала родственную идиллию, например, или отдала ему Осины письма, где он запрещает ему называть себя братом. Сейчас Евг. Эм. в доме творчества Кино в Прибалтике. В Риге, что ли? В Москву он действительно переехал. Написать бы ему и спросить у него? А может, действительно это лучше сделать через Таточку Лившиц. Она мне тоже

говорила про «сына». Она почти не знает о том, что произошло в прошлом. Для нее Ольга Ваксель просто увлечение О.М. (бедная Надя) и какая-то моя жалоба, что Оська мне надоел. Поэтому не говорите ей о моем беспокойстве. Только что я хочу иметь фотографию Ольги и странички ее дневника... т. е. мемуаров... Тата дружит с Евг. Эм.; она может от него узнать адрес «сына» и Гревса...

Знала про всю эту историю Анна Андр. – от меня, от Оси (смягченно) и от... Татлина. Я думаю (вернее, надеюсь), что Ольга не написала реалистических вещей. Женщины такого рода обычно пишут: «Как он меня любил, но я его выгнала» – дай-то Бог! Единственное, что у нее есть основание для большой обиды на О.М. – он поступил с ней по-свински (со мной тоже). Чего бы мне хотелось – это избежать реалий и выключить себя из этой игры. Проклятое легкомыслие и распутство юности – и еще остатки десятых и двадцатых годов...

Мануйлов много раз напрашивался на встречу со мной, но я уклонялась, не зная про его находку. (Евг. Эм. сказал про эту «находку» – «Мануйлов любит оказывать маленькие услуги». Здорово?) Оба они – и Евг. Эм. и Мануйлов – гнусные типы.⁵⁴

Интересно, что сама Тата не просто поддерживала отношения с младшим братом Мандельштама, но и была его confidentкой. Она относилась к нему вполне критически, но всё же жалела и даже пускала к себе ночевать, когда тот приезжал из Москвы в Ленинград по делам или выяснять отношения со своей брошенной ленинградской семьей. В одном из писем он даже обратился к ней в следующих выражениях: «Но это же Вам я пишу – моему альтер-эго, милому и доброму, всё понимающему другу»⁵⁵.

А 5 марта 1967 года Н.Я. послала Гладкову как бы «постскрипtum» к этому письму:

... Я нашла и «сына»: Смольевский Арсений Арсеньевич. Тел. Г-2-20-52 (Григорий), ул. Лебедева, 14/2, кв. 42.

Прочла кусок мемуаров. Они гнусны, но их нужно знать. Правде не соответствуют, кроме небольших элементов. У меня впечатление, что это написано по дневникам дочери матерью, чудовищной женщиной⁵⁶. Своеобразная месть за гибель дочери и сведение счетов (в частности, со мной). А счета были.

Дочь была не только красавицей, но очень нежной и тихой. Этот язык и все представления ближе к матери. Между прочим, мать предъявила к О.М. требования, которые он не исполнил. Она из тех, что продают дочерей. Любопытно, что Евг. Эм., частично требования выполнивший (он был там после О.М.), не упоминается вовсе (это путешествие на Кавказ).

Сын жаждет мне показать всё это. Если бы достать... Я боюсь, что Евг. Эм. дал мне не всё. А знать это нужно. Надо восстановить (скажем, в письме к вам или к Харджиеву) то, что было. Увлечение О.М., наша попытка развестись (я уходила к Татлину) и потом примирение. Была драма. Могла кончиться плохо. Случайно уцелели. Девчонка плакала целыми днями у меня в комнате. Не думаю, чтобы она любила О.М.: к этому времени она была уже половой психопаткой и жила с целой толпой. Как О.М. уцелел, трудно себе представить, потому что такого чуда, как эта Ольга, я не видела. Последний разговор их (по телефону) был при мне. Я была поражена грубостью О.М.... <... > При встрече через 3 года тоже. Но и там она отличилась... Есть ли у сына продолжение –

я читала до ее прихода через три года... Попробуйте достать... Если нет, я к сыну не пойду. Это патология первого класса уже в третьем поколении...⁵⁷

Но чего, собственно, так сильно испугалась Н.Я., прочитав записки Лютика и почуяв, что это еще «не всё»? Каких таких «реалистических вещей», какой правды?

Вот полный текст фрагмента воспоминаний Ольги Ваксель, в котором говорится о чете Мандельштамов:

.. Около этого времени я снова встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была. Современник Ахматовой и Блока из группы «акмеистов», женившись на прозаической художнице, он почти перестал писать стихи. Он повел меня к своей жене (они жили на Морской), она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами и ногами как у таксы. Но она была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу его переводов. Мы с ней настолько подружились – я доверчиво и откровенно, она – как старшая, покровительственно и нежно. Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как [к] мужским, так и [к] женским ласкам. Всё было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно, то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником. Мне очень жаль было портить отношения с Надюшей, в это время у меня не было ни одной приятельницы. Ирина и Наташа⁵⁸ уехали за границу, ни с кем из Института я не встречалась, я так пригласилась около этой умной и сердечной женщины, но всё же Осипу удалось кое в чем ее опередить: он снова начал писать стихи, тайно, потому что они были посвящены мне. Помню, как, провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию», где за столиком продиктовал мне их. Они записаны только на обрывках бумаги, да еще... на граммофонную пластинку. Для того чтобы говорить мне о своей любви, вернее, о любви ко мне для себя и о необходимости любви к Надюше для нее, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишней раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть.

В конце 1924 г. А[рсений] Ф [едорович]⁵⁹ решил отдать мне ребенка. Это событие было облечено большой торжественностью. Ребенок уже учился ходить, но не говорил еще ничего, кроме «мама». Теперь мне не было надобности приходить к А[рсению] Ф [едоровичу] каждый раз, как я хотела повидать ребенка, зато он сам стал часто появляться и проявлять свое неудовольствие по всякому поводу. Для того чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере», но ему не пришлось часто меня там видеть. Вся эта комедия начала мне сильно надоедать. Для того чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике с Морской на Таврическую. Я чувствовала себя в дурацком положении, когда он брал с меня клятву ни о чем не говорить Надюше, но я оставила себе возможность

говорить о нем с ней в его присутствии. Она его называла «мормоном» и очень одобрительно относилась к его фантастическим планам поездки втроем в Париж. Осип говорил, что извозчики добрые гении человечества. Однажды он сказал мне, что имеет сообщить мне нечто важное и пригласил меня, для того чтобы никто не мешал, в свой «Англетер». На вопрос, почему этого нельзя делать у них, ответил, что это касается только меня и его. Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз и навсегда. Я ответила, что буду. Он ждал меня в банальнейшем гостиничном номере, с горящим камином и накрытым ужином. Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия, он умолял меня не портить ему праздника видеть меня наедине. Я сказала о своем намерении больше у них не бывать, он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверяя, что он не может без меня жить и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил всё это в моей комнате, к возмущению моей мамы, знавшей и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне еле удалось уговорить его уйти и успокоиться. Как они с Надюшей разобрались во всем этом, я не знаю, но после нескольких телефонных звонков с приглашением с ее стороны я ничего о ней не слыхала в течение 3-х лет, когда, набравшись храбрости, зашла к ней в Детском Селе, куда они переехали и где я была на съемке.⁶⁰

Надо ли говорить, сколь многое в этих записках, начиная с «прозаической художницы» и «ног как у таксы», было для Н.Я. просто непереносимо!

Поглядевшись в зеркало чужих мемуаров, Н.Я. ощутила себя остро уязвленной и униженной. Мертвая Ольга, снисходительно смотрящая с этих страниц на Н.Я. сверху вниз, и из могилы нанесла ей сокрушительной силы удар и как бы отомстила сопернице сполна за всё «свинство» мандельштамовского разрыва. Нелепое предположение о том, что воспоминания Лютика не то надиктованы, не то записаны ее матерью, только подчеркивают ту растерянность и то замешательство, в которые вдруг впала Н.Я.

Возможно, что именно тогда она и ощутила настоятельную потребность написать свою версию событий и тем самым «ответить» Лютику – то ли защищаясь от ее несказанных слов, то ли атакуя их. Ей вдруг открылись и убойная сила мемуаров, и преимущества печатного и первого слова перед устными оправданиями: вон сколько громов и молний переметали они с А.А. и в Жоржика Иванова, и в Шацкого-Страховского с Маковским, и в Миндлина с Коваленковым, а чувство победы или торжества справедливости в их устном против печатного споре всё равно не возникало. А еще, кажется, она поняла – и как бы усвоила! – одну нехорошую истину: не так уж и важно, правдив мемуар или лжив.

Ни Гладков, ни Тата с добыванием воспоминаний О. Ваксель для Н.Я. не преуспели. Н.Я. ознакомилась с ними именно по той копии, которой располагал Евгений Эмильевич. Прочитав ее, она вздохнула с некоторым облегчением, но интуитивное чувство неполноты фрагмента всё же не отпускало ее, и, как мы теперь видим, не зря.

Надо, однако, сказать, что сексуальная тематика отнюдь не была табу в разговорном обиходе Н.Я. Ей уделено немало места даже в единственном видеоинтервью, данном ею для голландского телевидения в середине 1970-х годов⁶¹. Некоторые же мемуаристки, преодолев неловкость, специально написали о проявлениях сексуальной раскрепощенности у Н.Я. в 1920-1930-е (Э. Герштейн)⁶² и даже в 1940-е годы (Л. Глазунова)⁶³.

Но годы богемной юности не прошли для Н.Я. бесследно. Да и Лютик едва ли уступала ей по степени раскрепощенности⁶⁴. А по какому-то внутреннему счету, особенно если мерилom

считать любовные стихи, Н.Я. тогда Лютику все-таки «проиграла»! «Дура была Ольга – такие стихи получила!..»

3

Но вернемся к Тате.

И тут, пожалуй, стоит упомянуть еще одно стоящее рядом письмо Н.Я. – письмо А.К. Гладкову от 12 декабря 1966 года, где она писала:

Таточку Лившиц я люблю. (Ее почему-то не любила Анна Андреевна; в частности, за то, что там сломался ее муж⁶⁵; но за это грех ненавидеть жену, да и самого человека.) Эта трогательная красотка, маленькая луна, ветерок, Таточка, балеринка без балета, похоронившая всех своих близких (сын погиб на войне, когда она была далеко), вызывала у меня всегда великую нежность именно тем, что никак не заслужила своей участи. Судьба нас развела в разные стороны, но я помню и люблю бедную Тату. На похоронах Анны Андреевны она сказала мне, что у нее уже был инфаркт. За что? Передайте ей от меня нежнейший привет.⁶⁶

Возможно, именно это письмо стало для Н.Я. сигналом к тому, чтобы в книгу об Ахматовой включить и новеллу о вдовьей судьбе Таточки. Но само по себе это нисколько не удивительно. Когда арестовали саму Тату, следователь сначала дал ей понять, что Лившица уже нет в живых, а потом, видимо, очарованный ее скорбной красотой, предложил ей – без обиняков и сентиментальностей – выходить замуж за него.

Задумайтесь!.. Мало было той власти, «отвратительной, как руки брадобрея», отобрать у нее всё, что ей было дорого, – разорить семейный очаг, расстрелять мужа и осиротить сына! Нет, палачам хотелось еще оприходовать и ее саму – с пользой для общества и к собственному удовольствию!

Так подивимся мужеству этой хрупкой и беззащитной женщины, отказавшейся от столь лестного предложения.

Так вот каков он – праздник скифский!
Каэр без права переписки
И с конфискацией семьи!
А ненасытная медуза
Над каждой люлькою Союза
Свивает щупальцы свои.

И произнес убийца Бена:
«Иди, ищи ему замену.
Глядишь, и я тебе сгожусь?..»
Но нет, не общая природа
У «слуг» и у «врагов» народа:
«– Я с мертвыми – не развожусь!»

Так почему же во «Второй книге» Надежды Мандельштам места для этой странички-судьбы уже не нашлось?

Ответ на этот вопрос прост: концепция книги радикально переменялась. И тому весьма поспособствовали три события

1967 года – история с Лютиком и ее воспоминаниями, тяжба между Львом Гумилевым и Ириной Пуниной по поводу ахматовского архива и история с Харджиевым и архивом самого О.М.

IV. Первый старатель

Пойдемте отсюда. Она хочет сочинять.
Н. Харджиев

1

Александровский переулок, дом 43, квартира 4 – этот марьино-рошинский адрес когда-то принадлежал Виктору Шкловскому и его семье. Когда в 1933 году Шкловские переехали сначала в писательский кооператив на ул. Фурманова, а в 1937 году – в другой дом, в Лаврушинском переулке, одну комнату в этой квартире получила сестра Василисы – Таля (Наталья Георгиевна) с дочерью Васей. Именно у нее, а не у Василисы ночевали Мандельштамы в свои нелегальные приезды в Москву – и эти полуконспиративные ночлеги, так же как и тайную ночевку в доме Сани Бернштейна, красочно живописала Н.Я.⁶⁷ Еще одну комнату в той же квартире занимал Николай Иванович Харджиев⁶⁸ и еще одну – Борис Арнольдович Вакс, драматург, озабоченный ремонтом свой трущобы (это про него как-то пошутил О.М.: «Вакс – ремонтнодышащий...»).

Этот полуразрушенный деревянный дом, эта заземленная квартира на первом этаже служили Мандельштамам их ночью крепостью в столице, а девятиметровая харджиевская комната-пенал, или, иначе, шкатулка, с низким окном во двор исполняла роль форума-салона или «Башни»: за разговорами О.М. и Н.Х. засиживались далеко за полночь. Студеную эту комнату Ахматова с полным правом называла «убежищем поэтов»: кроме нее и Мандельштама, здесь побывали и Пастернак, и Цветаева, и Хармс, и Олейников, и Зенкевич, и Нарбут и многие другие. Именно здесь состоялась в 1941 году ее вторая и последняя встреча с Мариной Цветаевой⁶⁹.

Харджиев и Ахматова познакомились в Ленинграде где-то на стыке 1929 и 1930 годов. Знакомством этим они, по всей вероятности, были обязаны кругу интересов и друзей Н.Н. Пунина, основательно пересекавшемуся с аналогичным харджиевским «кругом»⁷⁰. Знакомство перешло в дружбу, которая не прерывалась – и, кажется, даже не омрачалась⁷¹ – до конца жизни. А.А. Ахматова чрезвычайно ценила его как специалиста, знатока русской поэзии и живописи: «Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины»⁷². Не случайно именно его она попросила «откомментировать» модильяниевский набросок (что Н.Х. блестяще выполнил⁷³) и именно с ним она обсуждала свои «публикации отчаяния» в «Огоньке» в 1950 году⁷⁴.

Но, помимо знаний и памяти, еще больше она любила в нем чисто его, харджиевское, сочетание живой мысли, острого языка, веселой непосредственности и вместе с тем – галантной деликатности в обращении и общении⁷⁵.

Е.К. Гальперина-Осьмеркина вспоминала следующий эпизод. В один из своих приездов в Москву А.А. остановилась у них:

К ней приходили гости часто. Особенно я помню приход Харджиева. Она очень дружила с Харджиевым, очень его любила, он был ее большим другом. И вот мы сидели у нее в комнате, о чем-то беседовали, и вдруг она после милой и даже такой остроумной беседы села с ногами на кушетку и приняла свой облик «какаду», как мы говорили. Он на меня посмотрел, легонько так толкнул меня в локоть или взял за локоть и сказал: «Пойдемте отсюда. Она хочет сочинять». Это было абсолютно точно сказано, он не искал никаких

формулировок литературных. «Она хочет сочинять». Очевидно, так это и было... Мы с ним сидели в мастерской, а она довольно долго пребывала в этой комнате.⁷⁶

Ну разве можно было не оценить и не полюбить такого человека? Отсюда и те поистине «царские подарки», которые Н.Х. и А. А. время от времени подносили друг другу: в 1934 году А. А. получила старинный, 1838 года, альбом, принадлежавший одному из князей Долгоруких, – в него она позднее записывала окончательные редакции своих стихов, а сама она в 1939 году подарила Н.Х. – к десятилетию их знакомства – хлебниковский рисунок⁷⁷.

Переписка А. А. и Н.Х. завязалась в 1932 году⁷⁸. И с самого начала ее явными или неявными персонажами становятся Осип и Надежда Мандельштам. Уже во втором письме А.А. спрашивается о них у Н.Х. Летом 1934 года она пишет ему:

Спасибо за альбом, он чудный. Когда я Вас теперь увижу, милый Николай Иванович, мне что-то очень скучно стало жить. Совсем не вижу людей, плохо работаю. Что Москва, после мая я отношусь к ней по-новому. Напишите мне.
<...> Жму руку. Ахматова.⁷⁹

Адресату было понятно, что за майские события имеются в виду – арест Мандельштама.

В свою очередь и Ахматова прочно «прописалась» в той переписке, что за четверть с лишним века разыгралась между Н.Я. и Харджиевым. Из Ташкента приходили и письма от А.А. с припиской Н.Я. (аналогичные письма писались тогда и Эмме Герштейн), и отдельные письма от них обеих, но написанные и отправленные – по почте или с оказией – одновременно и даже в одном конверте (эпистолярный «прием», который чета Мандельштамов практиковала и в переписке с Б. Кузиным, и с отцом О.М.).

С Мандельштамом Харджиев познакомился осенью 1928 года в другом «пристанище поэтов» – у Эдуарда Багрицкого в Кунцево, где Н.Х., которого Л. Гинзбург и Э. Багрицкий незадолго до этого «вытащили» из Одессы, в это время попросту жил. «М[андельштам] приехал в Кунцево с Зенкевичем. Беседа была многочасовая, пили вино, сочиняли шуточные экспромты на мотив „Гаврилы“. Тогда же М[андельштам] предложил Багрицкому и Х[арджиеву] встретиться в Москве, у Адуева. Встреча состоялась...»⁸⁰

В 1932 году – в самый разгар работы над собранием сочинений Маяковского – Н.Х. признавался Василисе Шкловской: «Могу читать только Мандельштама. Если получу новые его стихи, пришлю вам»⁸¹.

Но своей кульминации дружба с О.М. достигла в 1937 году.

С кем первыми встретились О.Э. и Н.Я. в Москве по возвращении из Воронежа? – С Анной Андреевной, специально подгадавшей свой приезд из Ленинграда к этому дню, и с Николаем Ивановичем⁸².

Самые первые дни после ареста мужа Н.Я. провела у Николая Ивановича.

После известия о смерти Мандельштама она «лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть: „Ешьте, Надя, это горячее“ или „Ешьте, Надя, это дорогое“... Нищий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни милыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни»⁸³.

А вот как тот же эпизод описан Н.Я. в другом – и, казалось бы, неподходящем – месте: одном из «дуэльных» ее писем к Н.Х.:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.